

ЧАСТОТА ШЕСТНАДЦАТЬ – СЕМЬДЕСЯТ

Долог поздней осенней ночью сон в избушке, в енисейской тайге. Уж не один пересмотрен, и даже с продолжением, когда с вечера жарко протоплена избушка, и кажется: то ли от духоты ворочаешься, то ли от мыслей – долгих, стародумных, не раз перебранных памятью. Одну пробежишь лишь мысленно, да и оставишь на потом, а другую – её опять пережить-перебрать надо, и разрешить что-то, или уж наверное определиться, да так, чтоб не снилась-не тревожила больше ночами... Оттого и ворочаешься, ища то ли его разрешения, то ли того самого, долгожданного сна, за которым все забудется. Тянутся эти минуты бессонницы, всё тянутся... И уж лежалось-то, и перелёживалось не раз с боку на бок, и думалось-передумывалось всё это не раз... Поворочаешься в эти долгие бессчётные минуты, все ожидая – когда ж свет-то, да и утро, чтоб наконец за делами забылись эти долгие думы. Поворочаешься, да потихоньку и выйдешь из избушки: жаркий, пропаренный печным неугарным теплом.

После томной жары избушки даже сильный мороз кажется благом. Глянешь – а вокруг-то! Легким стоячим дымом над печной трубой разделено небо надвое. Крупной солью рассыпались над чёрными верхушками елей звёзды, привычно гремит ручей, пробиваясь сквозь ледяную лохматую наморозь на камнях. Вернёшься, чуть прозябнув, и отметишь – руки липнут к дверной ручке: ага! значит – прибавляет мороз-то. Войдёшь в избу, укутаешься в благостное тепло спальника, и так же, во благе, заснёшь – уже счастливый отчего-то...

Проснёшься, когда в окошке чуть брезжит светом, который много значит сейчас здесь, в енисейской тайге: каким будет день? Что он предвещает охотнику – таким он и сложится. Тепло восходит к потолку, холод подкрадывается к сложенным под охотничьи нары-полати, ещё по осени завезённым, вещам-хохоряшкам; медленно, настойчиво ползёт выше, заставляя обитателей зимовья плотнее кутаться в спальные мешки. Но всё синее свет в избушке, всё отчётливее видны полки с книгами и охотничьими принадлежностями. Самое время вставать. А неохота – из тепла-то...

Утро в промысловой избушке – обычное. Анатолий, её хозяин, тихо встаёт, пошарит под нарами сапоги, привычно опустит в них ноги, прошаркает по половицам. Потом наскоро, чтобы не выстудить тепло, скрипнет дважды открывающаяся дверца, и слышится тихая возня у печки; через полминуты пахнет дымком берёзовой коры, за ними медленно потянется во все углы запах разгорающихся дров. Через полчаса, когда гул дров стихает, избушку заполняет плотное, надёжное тепло. От него – только раскутываться и вставать. Что ж – встаём, ведь чайник уже посвистывает.

В этом тепле избушки, у совсем ободнявшегося окошка – короткий завтрак. Нас в избушке трое: хозяин Толян – кряжистый, основательный, у которого всё в избушке под рукой, что готов достать с закрытыми глазами, и его напарник – элегантный спортивный Петрович, у которого на все случаи есть всё из того «городского» быта, но всё так пригодно, уместно и удобно здесь, в тайге. Я – не охотник, я – рыбак. Сегодня мороз, и не мой день «на щуку или тайменя»: мороз около 17, отчего все бахтинские затоны-сардонарии, в которых стоят щуки, затянулись звонким чистым бирюзовым льдом, способным удержать не только собаку, но и человека. Замерзли почти все свалы на порогах, где стоят обычно таймешата. Остаётся только незамерзающее устье ручья, впадающего в Бахту, где крутится юркий хариус. Но уж он-то от меня не уйдёт: вот подготовлю всё по дому и бане, и схожу к ручью, «как в магазин», как сказал

Толян, знающий, что за полчаса в устье ручья можно наловить до десятка хариусов. Так оно и есть – и мною тоже проверено неоднократно, а потому я прикидываю лишь – к которому часу тот хариус, что плавает ещё, будет приготовлен возвращающимся охотникам на обед. Сборы охотников всегда молча разрешаются одним и тем же: спокойно, проверив на себе и на полках снаряжение и одежду, и последовательно надев на ноги носки, пакульки и сапоги, они уйдут на путики, где уже настрожены пробные капканья и ловушки на соболя.

Они уйдут, накинув ружья, отцепив собак, всю ночь проспавших в своих рубленых, как и само зимовьё, избушках. И снова тихо будет в тайге. Не будет ни обычных утренних хождений со сборами, ни лая собак. Ветер здесь, над верхушками тайги – редкость... Тихо... Так тихо, что в избушке будет слышно только потрескивание догорающих в печке дров. И будет свет в окошке над прибранным столом, и раскрытая тетрадь, ждущая ненаписанных ещё впечатлений от вчерашнего трудного дня. А вчера, возвращаясь с верхнего зимовья Ворота полтора километра пришлось тащить лодку с вещами, собаками и мотором с неисправным винтом, по льду от затороженного от нагрянувшего минувшей ночью мороза, от устья Бахтинки, от острова напротив неё, и до открытой воды по самой Бахте. От острова вниз, куда нам надо было идти, уходил стрежень реки, стиснутый ледяными торосами. И нам бы идти по нему! Но этот чёрный, кажущийся спасительным, вал воды через полкилометра скрывался у порога набитым, скованным ночным морозом, льдом, запиравшим реку на всю её видимость вниз по течению. Оценив обстановку с биноклем, Толян и Петрович решились бурлачить вдоль левого берега. Слава Богу – лодку мы протащили до открытой воды, хоть не без усилий и не без приключений – Петрович, как обычно бравший на себя самые тяжёлые вещи, провалился по неверному у камня льду, залив в сапоги бахтинской ледяной воды...

Но – всё это мне предстояло вспомнить. А пока в избушке – шум радики. Рация – это старый, ещё «советского» времени небольшой ящичек с четырьмя ручками сверху – единственное, что соединяет людей в пространствах громадной, не поддающейся определению простого «европейского», человека, тайги. И в эту пустоту пространства вдруг входят живые голоса людей, для которых связь со своими родными, ушедшими в тайгу – единственное средство общения.

Вчерашним вечером мы должны были условиться по радики с племянником Анатолия – Иваном о дне встречи, чтобы забросить ему продукты, переданные его матерью, и кое-какие мелочи, так необходимые в тайге в долгие дни промысла: зимой мелочей в тайге не бывает. Иванов участок выше по реке километров на сорок, где у него стоит старая, «базовая» избушка на Молчановском Пороге, срубленная почти шестьдесят лет назад. На связь вчерашним вечером Иван отчего-то не вышел: наверное, бережёт аккумуляторы и батарейки, и мне поручено Толяном вызывать его в утреннее условленное время и передать ему на словах всё, что требуется, а – главное – уточнить: когда он будет на месте и что ему привезти. Рация трещит, попискивает, и за всеми этими шумами слышны разговоры: частот приёма на всю тайгу лишь две: «шестнадцать – сорок» и «шестнадцать – семьдесят», и все говорят и отвечают на этих волнах одновременно. Оказывается, в этих радио-диалогах трёх или четырёх пар никто никому не мешает, а каждый слышит лишь того, с кем разговаривает. Это и разговор охотников с разных участков между собой, и наставления матери сыну-промысловнику, и жены с мужем.

Пока пили чай, Иван на связь все не выходил – время было ещё неуточное, но Анатолий, пока пил кружку, дважды – на всякий случай – брал микрофон и вызывал:

– Молчановский, Молчановский! – чуть помедлив, повторял. – Молчановский! Ваня! Ваня!

Ваня не отвечал, но и посторонние разговоры не умолкали. Мне предстояло остаться в избушке «на хозяйстве и страпне» и выполнить поручение связаться с Иваном.

Когда Толян и Петрович уходят, рация остаётся работать. Провожая их и попутно делаю «хоздела»: подковка дров, разделка рыбы... Заношу в избушку дрова, рация теперь просто шипит. Обычно, часам к девяти, разговоры сначала разряжаются, потом совсем умолкают – все расходится по своим делам: таёжники – по таёжным, их домашние – по домашним делам.

Пока подрубаю дрова, думаю – как бы не забыть вовремя связаться с Ваней и вспоминать, как Толян, отвечая на мой вопрос – а как далеко берёт рация – отвечает: «ну, километров с 150 – 200 будет». Теперь, подколов дров для бани, затопив её в ожидании охотников и печку в избушке, заносу дрова, складываю их у печки и слышу, что жизнь в рации снова ожила.

– Дак а ты чо – давно заехал?

– Да четвертый день.

– И как там у тебя – соболя есть?

– Да пока тихо. Следочков пару видал. Белка пошла.

– А! ну, ежели белка, то и соболя следом пойдёт.

Из коробочки рации – шипение... На посторонний слух кажется – теперь всё, у кого-то пропала связь. Но нет, это просто иссякла тема разговора, и решалось – о чём бы ещё спросить. И – снова голос «старшего»:

– А у тебя мой сотовый телефон есть?

– Нету... Я свой утопил.

– Ну дак запиши.

– Да нечем.

– Чего так? В избушке-то карандашик где-то воткнутый...

– Да нету: тут медведь пару раз заходил. Пошарился и порядок свой навёл.

– А. Ну тогда понятно... – треск рации. Через минуту:

– А снег-то есть?

– Да сантиметров пять.

– А у меня чуть поменьше, с три... У тебя ж далеко участок? От дома?

– Да... как сказать... километров с пятьдесят от дома.

– Это ж к западу?

– Нет, к северо-западу. От Сарчихи километров двадцать.

– А-а... ну, понятненько... понятненько. Ну, давай!

– Давай.

Но, видно, «старший» никак не хочет бросать разговор, и через пару минут в рации снова слышен его голос. Тема охоты уже исчерпана, и он переходит к «наводящим вопросам»:

– А ты не женился ещё?

– Пока нет.

– А сестра твоя, Ленка?

– Не, не Ленка она, а Светка.

– А! Ну да – Светка! И как?

– Да второй год замужем.

– В Мирном?

– Нет, в Бору...

– Ага... Понятненько... – и спохватывается. – А ты вечером-то на связи будешь?

– Не. Я через полчаса пойду до верхней избушки. Проведаю. Завтра вечером вернусь.

– Ну, понятненько... Понятненько... Давай.

– Давай, дядь Миш.

Шипение... Теперь долгое, иногда прерываемое поисками своих:

– Чулково!... Чулково!...

– Сухой! Сухой!

Кто-то пытается вызвать потом: «Буровая! Буровая», перемежаясь с позывными «Двенадцатый! Двенадцатый!», «Сухой!» Но не отвечают сейчас ни «Сухой», ни «Буровая», ни «Двенадцатый»... День... А днём все – в тайге. Позывной Толяна – «Метео». Почему – о том я у него потом спросил. Он пояснил: неподалеку от зимовья Холодный на речке Нимэ, что по-эвенкийски означает – «рыбная», напротив красных бахтинских яров, после войны была метеостанция, и там жила семья. Метеостанция «умерла» в 79-м году. А позывной Толян достался.

Бесконечной и пустой кажется тайга. Но и в ней на каждый промысловый участок есть человек, реже – два. И Толян знает их всех – тех, кто слышен в этом невообразимом радиусе

эфирного пространства среди глухой тайги: от матерей и жён, живущих и по Енисею, до дальних промысловых избушек, часто разорённых набегами медведей или пожарами... И это неведомое для человека, меряющего таёжные эти края своими пространствами европейского обывателя, сибирское пространство трудно соизмеримо и часто непредставляемо. Участки у охотников – промысловиков, по «европейским меркам», с их государства. Бывают и чуть поменьше. Границы и соседей знает каждый. Не только ближайший, по границе-меже охотничьих участков, но и за три-четыре соседа во все стороны.

Заброс охотников на их зимовья в этом году на верховья реки Бахты, был как никогда, сложным. Лето стояло сухое, и воды в реке для её прохождения к верховьям и её притокам – Бахтинка, Тынеп, Хуринда, было мало. Оттого для всех охотников-промысловиков главным было – подняться по притокам Батюшки- Енисея через обнажившиеся грозные пороги, и дойти до своих избушек-зимовий с лодками, полными продуктов, топлива и техники – снаряжения на всю долгую промысловую зиму. Потому темы разговоров в эти дни касаются именно заброски в тайгу и всех сложностей, с ними связанными.

Утром, пока пили чай, весёлый и хмельной голос из радики радостно сообщал кому-то из промысловиков – соседей, что в речке воды совсем почти нет, да и становится она уже – почти всю льдом забило; вверх, к избушкам уже не пробиться; пришлось бросить лодку и таскать хохоряшки до зимовья. За два дня натаскался так, что «сутки из избушки не выйду!»

Толян, пока идёт эта радостная хмельная трепотня, весело смотрит на нас с Петровичем и показывает на радику:

– Это Олег. С Тынепа.

– Далеко это? – спрашиваю.

– Да километров сто двадцать по прямой, – и, дождавшись секундной паузы, берет микрофон. – Здорово, Олег!

Через пару секунд замешательства, голос в радики прибавляет «мажора»:

– Толян!! Ты?!

– Я. А ты, похоже, уже с утра принял...

– Да завёз сюда пятилитровую баклажку спирта. Я позавчера поднимался, и пришлось лодку бросить у большого порога. Он же почти сухой, без воды. Я и так его, и слева пробовал – куда там! Только винты у мотора побил. Ну – бросил лодку и таскался два дня!

– Да я уже слышал. Ну и чо, как спирт-то?

– Да он, зараза, рот сушит! Хоть выкинуть его куда-нибудь с этой баклажкой. Надоел! Я, Толян, зимовал тут прошлый год с такой же баклажкой спирта и с бидоном бражки. И до того мне эта баклажка надоела, что я отошёл подальше от избушки, нашёл, где снег поглубже, и закинул её в сугроб. Хрен с ней, думаю – весной вытаёт. Или будет чем заняться, ежели соскучусь по ней – возьму лопату и буду искать. Вернулся обратно, а бидон-то с бражкой стоит!

– И что, взялся бидон осваивать?

– А как ты думал! Так ты слушай, Толян! Надоела мне эта бражка через пару дней. Его-то – бидон – не выкинешь так-то, чтоб не найти! Бросил я избушку и пошел от неё и от греха подальше в другую избушку, вверх по Тынепу.

– Ага, понял. И чего? Ушёл от неё?

– Да куда там! Ты не поверишь! Взял рюкзак с харчами, что мне жена наложила. Прихожу в верхнюю избушку, довольный, что ушёл от бухалова. Пока шёл – дурь выпарилась, полегче стало. А как в избушку-то зашёл, печку затопил, чайник на неё поставил – думаю – надо подхарчиться, с дороги-то. Сымаю рюкзак, думаю – чего ж там жена мне положила. А там – прямо за буханкой хлеба, луком и куском сала – полторашка лежит. Нюхнул – а эт жена самогонки положила! И ведь не сказала ничего! А?

Сквозь треск радики долго раздаётся хриплый смех тынепского промысловика.

– Толян!

– Я здесь, на связи.

– Щас я за её здоровье ишо стопарик хлопну – и лягу... Я ж двое суток таскался, Толян. Всё, давай!

– Отдыхай, Олег!

Всякая хозяйка, по традиции провожает своего мужа на промысел «под рюмочку», чуть из которой непременно отливается – Батюшке-Енисею. А иная положит на дно коробки или рюкзака и такой сюрприз.

Ещё один голос пожилого человека в рации. С треском, шумом, но понятно, что он разговаривает с кем – то из своего дома. По разговору чувствую, что этот дед из рации не дома сидит, а в тайге.

Толян узнаёт его сразу:

– О, слышь – это дядя Миша. – Ты знаешь, сколько ему лет? – спрашивает он меня. – Во-о-семьдесят семь! И в тайге.

– Так он и сейчас на охоте?

– Ну да. С сыном заехал.

Дед Миша только что закончил разговор с кем-то из домашних: кажется, с дочерью. Толян, с утра поупражнявшийся в связи, прижал кнопку микрофона, от которого идёт болтающийся виток ещё «советского» шнура:

– Дядя Миша!

– Да, я... Кто это?

– Метео, метео!

– А! Толя! Доброе утро.

– Здравствуй, дядь Миш. Как жив-здоров, как дела?

– Да ничего.

– Обстановка как?

– Да как... Горели.

– Много?

– Да от устья Бахтинки сгорело. Километров шесть-семь. И в длину километров десять, примерно.

– Да, у меня тоже по Бахте, по правому берегу, сгорело километра с четыре...

Все сходятся в том, что виною этим пожарам – «турики», как здесь промысловики называют туристов. Нынешняя техника: лодки, моторы, «хиусы» делают доступными ранее непроходимые для обывателей таёжные места.

Оказалось, не только у Толяна и у дяди Миши горело.

Пожар в тайге – беда двойная: на пожарищах нет леса, а потому и нет зверя, за которым промысловик ходит в тайгу. Разоряются зимовья со всем налаженным бытом, избушками и запасами продовольствия. Большую часть продовольствия хранят в железных бочках, подвешенных на деревьях, чтобы не пограбил медведь, или тот же соболь, мыши или другое зверьё. Для надёжности крышки к ним приворачивают болтами. Но вот пожар... Трудно приходится охотнику, добравшемуся до пожарища...

В динамике рации неразборчивый позывной и расстроенный женский голос:

– Ты добрался?!

И сразу – отзыв:

– Да, тут я.

– Да что же такое, мать же твою перемать! Мне передали, что у тебя всё сгорело! Все продукты! А? Это что же такое – без продуктов-то в тайге!

– Да ничего. Огонь много тайги пожёт, вся сопка голая. А избушка цела. Метр до неё огонь не дошёл.

– А продукты-то, продукты?! Я ж тебя про продукты спрашиваю!

– Да цело, кажется, всё. В бочке пока ещё не проверял, может, там ещё чего-то осталось, она на берёзе висела. Глухарей ещё полмешка.

– А ты хоть ел?

– Да два дня шёл по гари. Одежда вся чёрная от копоти. Пришёл, пиццу поджарил, стал есть её, а меня рвёт от этой гари. Три раза брался – не могу – выворачивает. Дыму наглотался, оттого и не могу.

– А в верхней избушке как продукты?

– Да я сразу к ней пошёл, а она вся медведем разворочена. Сейчас тут, на гари разберусь, пойду избушку делать.

– Ну, ты, ежели совсем будет худо, тогда к Лёше иди.

– Да ничо. Буду по новой венцы избушки собирать.

– А то хоть и к Лёше иди. За сутки-двое доберёшься. Хоть вдвоём там будете.

Разговор перемежается вздохами матери и молчанием сына, которое он прерывает словами:

– У меня батарейки уже садятся.

– Ну, ладно тогда... Ты тогда замени их, я в три тебя вызову... Слава Богу, продукты хоть целы... Давай, я опять свяжусь без десяти три.

– Мне сходить ещё надо, хоть воды принести. Попить.

– Ну, ладно, иди. Я без десяти три буду на связи...

Разговор закончился. Но через минуту тот же обеспокоенный голос матери снова пробивается сквозь шипение:

– Мирный, Мирный....

И опять:

– Мирный, Мирный! Лёша! – это мать беспокоится уже за другого сына. Он тоже на промысле. Там, в тайге.

Вертолёт за нами прилетел «санрейсом» – так называют здесь, по Енисею, непредвиденные, внерейсовые полёты, когда надо срочно забрать кого-то в районный центр, на Подкаменную Тунгуску. Он, слышный своим стрекотом ещё за десяток километров, низко прогремел над нами, сделал обычный круг над Бахтой и зимовьем, оценивая обстановку. Вернулся, и, тяжело зависая жёлтым брюхом, присел на галечник, поднимая винтами снежную круговерть. Через минуту под нами уплывали крыши зимовья, машущий нам рукой Толян и белый пенный поток ручья, впадающего в Бахту. Позади остались зимние предстоящие заботы Толяна, его охотничья удача, а ещё – множество историй, так открыто рассказанных в общем для простора Енисей-батюшки радио-эфире на частоте шестнадцать-семьдесят.

17.10. 16 г. – Бахта, зим. Холодный – 20.12.2016 г. Поньгома